



АНРИ ПЕРРЮШО

Мане

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ



Анри Перрюшо Мане

Серия «Биографии великих художников»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24161518

Мане: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-102362-1

Аннотация

Автор книги – известный писатель Анри Перрюшо, исследователь творчества французских художников-импрессионистов, таких как Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж-Пьер Сёра. Герой этой книги основоположник импрессионизма и один из самых выдающихся живописцев Франции – Эдуар Мане. Биографии-романы А. Перрюшо всегда достоверны и документированы, но это не мешает им быть живыми и волнующими, ярко воссоздающими облик художников и эпоху, в которой они жили и творили. В издании представлены наиболее известные картины Эдуара Мане, а также картины других художников.

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	10
I. Часы Бернадота	10
II. Бухта Рио	46
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Анри Перрюшо

Мане

© Librairie Hachette, 1955

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Предисловие

После Ван-Гога, Ренуара и Тулуз-Лотрека героем четвертой биографии в серии «Искусство и судьба» я выбрал Эдуара Мане, художника, создавшего «Олимпию» и явившегося средоточием той художественной эпохи, историю которой я вознамерился рассказать. Он ее стержень, ее движущая сила. «До Мане», «после Мане» – такие выражения полны глубочайшего смысла. С его именем заканчивается один период и начинается другой. Мане действительно был «отцом» современной живописи, тем, от кого исходил определяющий импульс, повлекший за собой все остальное. В истории искусства удалось бы насчитать совсем немного революций, подобных той, которую совершил он, – революции основополагающей, чреватой целым рядом серьезнейших последствий.

Однако этот революционер не мечтал ни о чем ином, кроме официальных почестей. Буржуа, завсегдатай бульвара, человек тонкого ума, денди, привыкший проводить время в кафе Тортони, приятель дам полусвета – таким был живописец, опрокинувший основы искусства своего времени. Он домогался славы, но славы, связанной с успехами в официальном Салоне. Считалось, что он искал скандальной известности; на самом деле скандалы причиняли ему много горя и страданий. Если что-то и занимало его помыслы, то это жажда наград и медалей.

Подобное противоречие, где весьма парадоксально отражается в человеке простейшая, введенная в моду романтизмом антитеза между буржуа и художником, не преминуло стать поводом для кривотолков. Образ Мане крайне упрощали. При жизни благодаря скандалам, сопутствующим его имени, мастера изображали эдаким представителем богемы, жаждущим популярности самого дурного толка; впоследствии в нем видели просто буржуа, раздавленного непосильной для него судьбой.

Такое категоричное суждение слишком примитивно. Шумиха, сопутствовавшая созданию репутации художника, обусловила те нарочитые преувеличения, которые характеризовали, разумеется, лишь поверхностные стороны его жизни. Но жизнь видимая отнюдь не является подлинной жизнью человека: она всего лишь какая-то ее часть, причем, как правило, не самая значительная. Жизнь Мане далеко не так ясна и очевидна, как о ней думали. Чем больше я изучал ее, тем более сложными и емкими оказывались ее неожиданные глубины, возникало что-то ранее совершенно неизвестное, то, о чем не упоминалось и что на самом деле весьма существенно.

Нервный, легковозбудимый, снедаемый скрытым беспощадным недугом, погубившим так много великих художников и писателей прошлого века, Мане был человеком, одержимым творчеством. «Революционер вопреки самому себе»? Да, конечно, но в той только мере, в какой человек напе-

рекор собственному желанию осознает себя самого или скорее принимает на себя то, что ему предназначено. Мане хотел бы для себя успехов Кабанеля, но он не мог писать так, как Кабанель. Он противился своей судьбе, но судьбу эту он нес в себе.

Именно ее, эту судьбу, я и попытался здесь разгадать. В конце книги можно найти библиографические указания, источники, на которые я опирался при описании этой жизни, где, как и в других моих работах биографического плана, всячески старался избежать того, что походило бы на роман. Стремясь как можно ближе узнать этого человека, я максимально умножил поиски материалов. О Мане писали много; равно много писали и о его современниках. Я заставил себя прочесть все. Труд довольно неблагодарный, зато плодотворный: я собрал жатву среди абсолютно забытых материалов той эпохи.

С другой стороны, необычайно плодотворной оказалась и моя погоня за неопубликованными документами. Этим я во многом обязан любезной помощи многих лиц. Вот почему я не могу не выразить своей бесконечной признательности г-ну Жану Адемару, помощнику хранителя Кабинета эстампов Национальной библиотеки, предоставившему в мое распоряжение важные досье, в том числе неопубликованные документы самого разного характера; все это мне очень помогло в работе. Профессор Анри Мондор тоже с удивительной щедростью передал мне многочисленные неопубликованные

документы, связанные с Малларме и Мери Лоран, ряд писем Мане к этой последней, а кроме того, еще несколько писем, адресованных Бертой Моризо Стефану Малларме. Параллельно с этим мсье и мадам Жан-Раймон Герар-Гонсалес, сын и невестка Эвы Гонсалес, передали в мое распоряжение принадлежащие им документы – главным образом переписку Мане с Эвой Гонсалес, Эммануэлем Гонсалесом и Анри Гераром и записную книжку молодого художника; они снабдили меня также бесценными сведениями об Эммануэле Гонсалесе и Феликсе Бракмоне. Мадам Женевьева Э. Оливье-Труазье и мадам Аннет Труазье де Диаз, дочь и внучка Эмиля Оливье, любезно разрешили мне ознакомиться с рукописным «Дневником» политического деятеля; текст этот представил исключительный интерес в связи с путешествием, совершенным Мане в Италию в 1853 году. Мадам Женевьева Э. Оливье-Труазье была так любезна, что пожелала записать специально для меня рассказ о венецианском приключении Мане, неоднократно слышанный от своего отца. Г-н Луи Руар любезно ответил на все мои порой весьма нескромные вопросы, касающиеся Мане, Берты Моризо и их близких. Я должен также поблагодарить г-на Жана Денизе, начальника Архивной службы и библиотек Морского министерства, он охотно содействовал розыску документов, имевших отношение к кандидатам в Мореходную школу, среди которых в те годы был юный Мане; г-на Мишеля Робиды, уточнившего некоторые сведения относительно

Изабеллы Лемоннье, его бабки; г-на Франсиса Журдена, передавшего мне письмо Клода Моне по поводу «Олимпии».

Я приношу всем свою глубочайшую благодарность.

А. П.

Часть первая

В лоне семьи (1832–1853)

I. Часы Бернадота

Только сын девы Марии может быть и оставаться хорошим учеником.

Рожэ Пейрефитт. Дружба особого рода (Слова папаши Лозона, преподавателя математики)

Итак, мы в Париже 1840 года. Каждый день, в один и тот же час, мужчина, одетый в наглухо застегнутый сюртук с ленточкой Почетного легиона в петлице, продельывает неизменный путь от нижней части улицы Птиз-Огюстэн¹ на левом берегу Сены до дома номер 22 по улице Нев-Люксембург² на правом берегу, где находится бюро Министерства юстиции.

Жители набережных и хозяева лавок, расположенных в аркадах улицы Риволи, могли бы при его появлении проверять часы, как делали это жители Кенигсберга при виде Эммануила Канта. Привычки философа были столь же незыблемы, что и привычки этого человека с серьезным лицом, грустными глазами, с черным галстуком, завязанным бан-

¹ Теперь улица Бонапарта.

² Теперь улица Камбон.

том, на котором покоится густая, уже седеющая борода; он движется не без торжественной надменности, всегда одинаково ровной походкой. Ничто не отвлекает его внимания. Ничто и никогда не заставляет его замедлить или ускорить шаг, хоть как-то отклониться от заданного пути. Мужчина этот – начальник кабинета хранителя печатей, г-н Огюст Мане. Образцовый чиновник, он быстро поднялся по ступеням административной иерархии. В возрасте тридцати трех лет, еще до падения Карла X, он уже был начальником отделения в Министерстве юстиции. Июльская монархия тоже ему благоволила.

Родившемуся в конце прошедшего века – 14 фрюктидора IV года³ – Огюсту Мане сейчас сорок четыре года. Однако благодаря серьезности, осанке, высокой должности ему можно дать куда больше, как, впрочем, и многим его современникам. Ведь понятия возраста относительны. В своих колебаниях они подчиняются чему-то такому, что связано с модой. В 1840-е годы прошлого столетия те, кто едва распрощался с отрочеством, держали себя как зрелые люди. В театральном репертуаре тридцатилетних называли «старыми развратниками»⁴. Борода не зря отличает буржуа от лакея; она ведь еще и признак респектабельности. Г-н Мане должен был очень рано казаться «мужчиной в возрасте».

³ 31 августа 1796 года.

⁴ Цит. по: Jean Robiquet. *L'Impressionnisme vécu*. Paris, 1948. О первой пьесе Эмиля Ожье «Цикута» (1844).



Эдуар Мане. Портрет господина и госпожи Огюст

Мане.

Он принадлежит к семье, происходившей из Иль-де-Франс; ее сыновья по традиции вот уже двести лет занимают более или менее важные официальные должности. В числе его предков архивы XVII и XVIII веков упоминают секретаря суда, прокурора и судью; расположенный неподалеку от Мант-ля-Жоли городок Эпон, где они жили, так и хочется назвать колыбелью клана Мане. Другие его члены в недавнем прошлом были: один прокурором в Большом совете, другой – казначеем Франции в канцелярии Алансона, третий – войсковым казначеем в Кале. Отец г-на Мане, умерший в 1814 году, едва достигнув пятидесятилетия, одно время был юристом в Париже, а в год революции стал мэром Женвилье, где из поколения в поколение члены семьи Мане наследуют великолепные имения. Инициативный от природы, прекрасный администратор, он много сделал для этих мест⁵, особенно когда затеял большие осушительные работы (из-за близости к Сене климат Женвилье отличается чрезмерной влажностью, поэтому почти все представители семейства Мане страдали ревматизмом).

В 1831 году, теперь вот уже девять лет, Огюст Мане женился – не по любви, просто повинувшись тому, что принято, ибо для чиновника его положения предпочтительнее быть

⁵ В 1899 году с некоторым запозданием память об этом Клемане Мане увековечили – его имя дали одной из улиц Женвилье.

женатым, – на девице Эжени-Дезире Фурнье, которая была на четырнадцать лет его моложе и от которой он имел троих детей: мальчиков – он предпочел бы девочек, они спокойнее.

Он живет со своими домочадцами на улице Птиз-Огюстен в доме 15 на третьем этаже; величественные ворота ведут в большой двор; позади него густой старый сад. Здесь обитают и другие его родственники, в частности один из его шуринов, Эдмон-Эдуар Фурнье, артиллерийский офицер и адъютант герцога Монпансье, а также один из племянников, метр Жюль де Жуи, блестящий адвокат двадцати шести лет от роду, родственник известного литератора Виктора-Жозефа Этьенна, прозванного де Жуи, чьи шумные успехи в литературе и театре удостоили его чести быть избранным в 1815 году во Французскую академию.

В общем, все Мане буржуа весьма зажиточные. После смерти отца Огюст Мане получил свою долю наследства (у него две сестры): 63 гектара земли и дома в коммунах Женвилье и Аньер. Он оставил за собой только маленькое имение, куда наезжает летом с домочадцами; остальное сдано внаем. К его собственным доходам присовокупляются доходы супруги; она, в свою очередь, была отнюдь не бедной. Одним словом, семья располагает по меньшей мере 25 тысячами франков в год⁶, что позволяет отнести ее к классу типичной средней буржуазии.

⁶ В современном Мане денежном исчислении. Эти сноски в дальнейшем опускаются.

Г-н Мане ведет жизнь, обычную для людей его положения. Дважды в неделю он «принимает». Обычай довольно тягостный, ибо ничто не удручает его больше, чем обязанность по долгу службы приглашать за свой стол официальных лиц. К тому же, но в глубине души, он не одобряет в отличие от своего шурина-офицера политику июльского режима. Поддерживать отношения со своими коллегами старается как можно меньше. Он чувствует себя хорошо только среди нескольких друзей: это г-н Дефоконпре, переводчик Вальтера Скотта, который возглавляет коллеж Роллен, тот самый, что позади Пантеона; это г-н Пелла, преподаватель факультета права, и доктор Маржолэн. Возможно, он дорожит также и знакомством с довольно многочисленными лицами духовного звания, и они не упускают случая постучаться в его дверь. В самом деле, разве некая Агата Мане не была монахиней в монастыре Богоматери?

Итак, семейство Мане живет довольно замкнуто. Позже, когда старшему из сыновей, Эдуару (его с рождения прочили в магистратуру), исполнится семнадцать лет и волею случая ему придется познакомиться с сыном модистки, юноша будет крайне этим изумлен. «Пусть тебя не пугает это слово – „модистка“, – поспешит написать он матери, – право же, эта женщина совсем не похожа на себе подобных, а ее сын, ученик коллежа Жоффруа, просто очаровательный юноша и куда благовоспитаннее, чем многие из нас, поверь. И все же признаюсь, что оказаться в первое свободное от занятий

воскресенье в лавке модистики было довольно странно».

В 1840 году старшему сыну было всего восемь лет. Он родился 23 января 1832 года в семь часов вечера и вырос в этой довольно угрюмой квартире, которую он и его братья, Эжен семи лет и Гюстав пяти лет, наполняют, по мнению г-на Мане, излишним шумом. Полупансионер в заведении каноника Пуалу в Вожираре, Эдуар там смертельно скучает. На уроках ему совсем неинтересно; скорее бы пришла няня, скорее бы вернуться на улицу Птиз-Огюстэн, вновь обрести материнский кров – мать он обожает, – и братьев, и кузенов Фурнье.

Самые лучшие минуты наступают по вечерам, когда дядюшка Фурнье (а он к тому же и его крестный) коротает досуг вместе с родителями Эдуара и другими завсегдатаями дома – это происходит довольно регулярно. Пока дамы рукодельничают, а мужчины беседуют, дядюшка Фурнье – низенький, дородный, добродушный толстяк со смеющимся лицом и маленькой бородкой – забавляется, вынув из кармана блокнот для рисования: делает наброски. Обязанный, как и другие артиллерийские офицеры, уметь рисовать по причинам профессиональным, «чтобы зафиксировать укрепления, местонахождение и позиции противника»⁷, дядюшка Фурнье питает к карандашу подлинную страсть.

Образованный, с тонким вкусом, Фурнье по-настоящему любит искусство, хотя в присутствии своего деверя почти не

⁷ Robert Rey. Manet. Paris, 1938.

рискует заговаривать на подобные темы. Чтобы наблюдать за дядюшкой, Эдуар тут же оставляет все игры. Он и сам не прочь сделать несколько штрихов по бумаге. Мгновенно сосредоточившись, он прислушивается к советам, начинает сызнова, кое-что исправляет, овладевает перспективой.

Но время бежит. Г-н Мане, который не устаивает вниманием все эти пустые забавы, взглядывает на большие часы с колонками, стоящие в гостиной на камине между двумя массивными канделябрами; пора спать.

Утвержден новый хранитель печати; г-н Мане оставил министерское бюро – его самого назначили на должность судьи в суде первой инстанции департамента Сены. Он испытывает чувство удовлетворения: наконец-то освободился от зависимости, так его тяготившей.

В настоящее время г-н Мане имел бы все основания считать себя довольным судьбой, если бы Эдуар, его старший, не причинял столько огорчений. Эдуар не трудится. Ни малейших успехов. Не то чтобы он ученик недисциплинированный, но вечно какой-то рассеянный, равнодушный. Впрочем, учителя из заведения Пуалу слишком к нему снисходительны – быть может, оттого, что он так располагает к себе? При всей своей суровости г-н Мане конечно же не бессердечен. Он ни в коем случае не хотел бы притеснять этого ребенка. Но все-таки интернат будет ему полезнее. Короче, невзирая на испытываемые в этот момент сожаления, г-н Мане решает забрать сына из учебного заведения Пуалу и

поместить на полный пансион в коллеж Роллен – тот самый, где начальствует его друг г-н Дефоконпре.

Эдуар – ему теперь уже двенадцать лет – не испытывает никакой радости, узнав об уготованном ему новом образе жизни. Прощайте, милые сердцу вечера, когда он коротал время подле дядюшки Фурнье. Эдуару разрешено покидать стены коллежа только по четвергам и воскресеньям; к тому же право на это он должен заработать сравнительно приличными оценками.

По правде говоря, ничего в нем нет привлекательного, в этом коллеже Роллен на улице Пост⁸, куда в октябре 1844 года Эдуар поступил в пятый класс. Хотя он и считается одним из самых «аристократических»⁹ учебных заведений Парижа, этот бывший монастырь августинцев слишком уж напоминает о прошлом: ведь при монархическом режиме там было исправительное заведение, куда принудительно заключали особ женского пола.

Низкие, слабо освещенные залы. Глазу остановиться не на чем: хоть бы какая-нибудь гравюра, даже географической карты нет, ученикам тесно, они «стиснуты как сельди в бочке»¹⁰, пюпитры давят на грудь. Вечерами коптит скверный кинкет: света от него ничтожно мало, зато воздух наполня-

⁸ Бывшая улица По; сейчас улица Ломонд. Коллеж Роллен находился там, где расположены дома под номерами 42–54.

⁹ Antonin Proust. Edouard Manet, Souvenirs publiés par A. Barthelemy. Paris, 1913.

¹⁰ Antonin Proust, указ. соч.

ется зловонием.

С самого начала занятий г-н Дефоконпре – а он очень привязан к Эдуару – старается успокоить родителей относительно способностей их сына. «Знания этого ребенка слабы, – пишет он в своих заметках, – но он усерден, и мы надеемся, что он будет успевать». Слабы, это верно. По всем предметам он плетется в хвосте пятого класса. Вот, к примеру, латынь: среди шестидесяти двух учеников он ни разу не занял места ближе сорок второго, а порой скатывался даже до пятидесят седьмого. И так почти по всем предметам. Только однажды по латинскому переводу ему удалось выйти на шестое место – это его лучший результат за весь год, – но после следующей контрольной работы он снова на пятьдесят втором месте¹¹. Что касается слова «усердие», так любезно употребленного г-ном Дефоконпре, то это, пожалуй, сильно сказано. Кроме гимнастики – да, там он среди лучших – и еще, конечно, рисунка, чем еще интересуется Эдуар? Историей? Порою хочется верить, что это действительно так, но чаще, пока г-н Валлон¹² ведет занятие, Эдуар украдкой почитывает что-нибудь постороннее.

¹¹ Все школьные оценки и замечания, упоминаемые в этой главе, приводятся согласно рукописному оригиналу школьных оценок Мане, хранящемуся в запаснике Кабинета эстампов парижской Национальной библиотеки.

¹² Г-н Валлон, которому было тогда тридцать два года, впоследствии сыграл как депутат от департамента Нор определенную политическую роль, хоть и кратковременную, но решающую, когда в 1875 году выработывалась Конституция III Республики.

И к сожалению, в июльских заметках г-н Дефокопре будет вынужден почти признать, что покровительствуемый им ученик не отличался чрезмерным «усердием». Его продвижение было «в итоге немного медленно»; разумеется, он проявил «достаточно доброй воли», но все же «хотелось бы видеть больше рвения и энергии». В конечном счете юный Эдуар останется в пятом классе на второй год.

Вряд ли г-н Мане был слишком доволен. Как непохож на него этот беззаботный, легкомысленный ребенок! Может, он больше походит на родственников по линии Фурнье? Кто знает? Ведь родственники по материнской линии и впрямь не отличаются слишком-то уравновешенным темпераментом; в отличие от представителей семьи Мане они импульсивны, восприимчивы, склонны к авантюрам. Брат мадам Мане, кирасирский лейтенант, вспыльчивый задира, убит на дуэли. Ее дед Делану (ведущий свое происхождение от той династии Делану родом из Пуату, которая еще со времени Генриха III и на протяжении всего старого режима давала королям камердинеров) в годы революции нажил благодаря спекуляциям кругленькое состояние, но затем его потерял. Что до ее папашки... Но тс-с! Ну что можно сказать об этом ловком дипломате – ведь он, как известно, внес свой вклад в превращение князя Понтекорво, маршала Бернадота в наследника шведского престола, куда этот выскочка вознесся под именем Карла XIV. И что остается сказать об этом Бернадоте, который, получив свое, заплатил черной неблагодар-

ностью тому, кто ему так помогал? Мадам Мане была крестницей короля Швеции – он умер несколько месяцев тому назад, в 1844 году, – но что проку? Она любит подсчитывать: ко дню крещения – кольцо из кораллов, а на свадьбу – вон те большие часы, что отсчитывают время на камине в гостиной. Вот и все! Не слишком-то много! Просто пустяк! Однако мадам Мане забывает упомянуть, что, помимо этих часов, Карл XIV преподнес ей на свадьбу еще шесть облигаций государственной ренты и 6000 франков наличными. Она забывает также – впрочем, она может этого не знать, – что ее отец вовсе и не был дипломатом.



Жозеф-Николя Жуи. Копия с оригинала Франсуа-Жозефа Кинсона. Карл XIV Юхан (Жан-Батист-Жюль Бернадот).

В 1810 году, когда разворачивались события в Швеции, Жозеф-Антуан-Эннемонд Фурнье¹³, прежде занимавшийся коммерцией в Ганновере, а затем в Гётеборге, обанкротился. Он вернулся во Францию.

В этот тяжелый для себя период Фурнье и попал на службу к Бернадоту и помог ему в осуществлении его кампании. Захватив изрядную сумму денег, Бернадот двинулся в Швецию и прибыл в Эребро, где тогда совещался сейм. Сейм утвердил избирательную комиссию из двенадцати членов. На первых выборах Бернадот получил один-единственный голос. Воспользовавшись тем, что французский поверенный в делах был отозван, Фурнье, не гнушаясь буквально никакими средствами, выдал себя за представителя императорского правительства. Он во всеуслышание заявил, что «Бернадот – единственный наследный принц, которого император и вся Франция восприняли бы как достойного избрания»¹⁴. Дело было сделано. Бернадот получил десять голосов.

Знает ли г-н Мане обо всех этих делишках? Если ему и доводилось задумываться о своем тесте – впрочем, он его никогда не видел (Эннемонд Фурнье умер в 1824 году, за семь

¹³ Он родился в 1762 году и был сыном смотрителя вод и лесов Гренобля.

¹⁴ Bernard Nabonne. Bernadotte.

лет до свадьбы дочери), – то только тогда, когда начинало казаться, что Эдуар скорее похож не на родственников по отцовской линии, а как раз на этого предка, героя невероятнейшей истории, о котором в официальных сферах до сих пор отзываются весьма неодобительно¹⁵. Но тс-с-с! Часам, позванивающим в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, надлежит напоминать только о черной неблагодарности покойного короля по отношению к своему «дипломату» – а ведь был обязан ему возвышением.

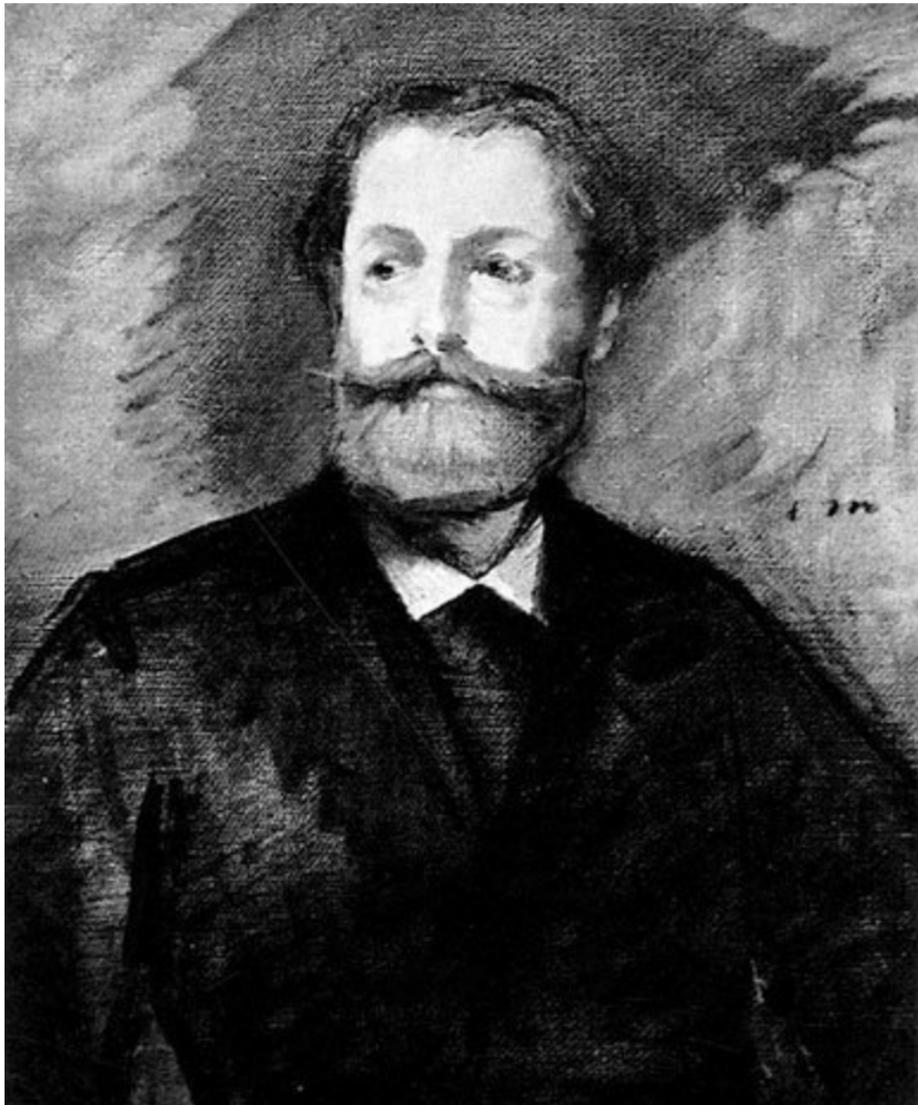
Оставшись на второй год в пятом классе, Эдуар лишается товарища, чьей дружбой очень дорожил, – Антонена Пруста¹⁶, сына бывшего депутата от департамента Дё-Севр. Без малого год провели они в пятом классе бок о бок на одной скамье. Но Антонен Пруст, как и положено, переходит в чет-

¹⁵ В 1845 году В. Sarrans Младший публикует в издательстве «Comptoir des imprimeurs-unis» «Историю Бернадотта» в двух томах, где Фурнье представлен «личностью, недостойной уважения, лишенной звания и полномочий», где говорится о „неблаговидной деятельности этого лица в прошлом“, где, наконец, цитируются слова министра внутренних дел императорского правительства: «Я не в состоянии поверить, что это лицо имело наглость самовольно взять на себя какую-то миссию (...). Правительство (...) в любом случае не могло опуститься до того, чтобы использовать подобного субъекта для осуществления важных политических намерений». Почти все биографы Бернадота вынуждены крайне резко высказываться по поводу Фурнье. Любопытное обстоятельство – вероятно, никто из них не знал, что это дед Мане. Что касается исследователей жизни художника, то у них никогда не возникало желания уточнить эту историю по первоисточникам, и они скопом повторяли легенду о дедушке-дипломате.

¹⁶ Этот Антонен Пруст, который будет всю жизнь тесно связан с Мане, не имеет никакого отношения к семье Марсея Пруста.

вертый класс. Друзья не смогут больше видаться, разве что в неурочные часы. Они будут встречаться также по воскресеньям, когда отправляются на ставшую традиционной прогулку в сопровождении дядюшки Фурнье.

Дядюшка Фурнье счастлив: он обнаружил у племянника явные способности к рисованию и всячески им потворствует. Пока его гарнизон стоит в Венсенне, он часто привозит туда подростков; все трое делают наброски, гуляя по живописным окрестностям. Ну и конечно же он водит их в музеи, главным образом в Лувр.



Эдуар Мане. Портрет Антонена Пруста.

Лувр обладал тогда особой притягательностью для посетителей – там экспонировалось пятьсот картин из так называемого «испанского музея» Луи-Филиппа. В те годы Испания у французов была в моде. Со времен Наполеона и печально известной войны, которую вел император по ту сторону Пиренеев, все военные или политические события – такие, к примеру, как экспедиция 1823 года, взятие форта Трокадеро в Кадиксе или сражения карлистов, – не переставали привлекать внимание к этому полуострову. Восстанавливая традицию, прославленную Корнелем и Лесажем, писатели романтической эпохи часто вдохновлялись Испанией: так случилось с Гюго, после «Эрнани» 1830 года создавшим в 1838 году «Рюи Блаза». Шарль Нодье опубликовал в 1837 году «Инесс де ла Сиеррас», а Теофиль Готье выпустил в 1843 году «За горами» («Tras los montes»)¹⁷. Мериме, в 1825 году напечатавший «Театр Клары Гасуль», только что обнаружил «Кармен». В живописи тоже происходило нечто подобное. Разве в последнем Салоне полотна Курбе не называлось «Гитарреро»? В 1838 году могло показаться, что вот-вот родится школа франко-испанской живописи.

«Испанский музей» был официально открыт как раз в первых числах января 1838 года. В сущности, этот факт положил начало постепенно крепнущему интересу к искусству Испании – если прежде его знали очень мало, то теперь оно приобретает неповторимую прелесть новизны. Ранее произ-

¹⁷ «За горами» (испан.).

ведения испанских художников казались далекими, недостижимыми. Граверов в Испании не было, а значит, и воспроизведения картин появиться не могли. И вообще какие полотна мастеров Пиренейского полуострова хранились во французских музеях? Раз-два – и обчелся.

В Лувре их было ровно двенадцать¹⁸. Поэтому, когда в 1837 году в Испании вспыхнули беспорядки, связанные с движением карлистов, Луи-Филиппа осенила идея поручить барону Тейлору – искусственному любителю искусства и опытному путешественнику, который ловко провернул в 1837 году покупку луксорского обелиска у Мухамета-Али, – «приобрести без шума» в Испании столько картин, сколько удастся. Барон Тейлор получил для этих тайных операций более миллиона франков. Ему удалось вывезти из Испании преимущественно морем более четырехсот произведений – неравноценных, конечно, но несколько десятков полотен представляли интерес и ценность исключительные.

Эти картины – а к ним в 1842 году прибавилась еще и коллекция англичанина Фрэнка Холла Стэндиша, завещанная им Луи-Филиппу, – дядюшка Фурнье и комментирует своему племяннику. Какое впечатление должны производить они на тринадцатилетнего мальчика, такого нервного и эмоционального! В пяти огромных залах «испанского музея», где полы вымощены красной плиткой, а рамы картин почти касаются на стенах друг друга, царит глубо-

¹⁸ Опись 1832 года.

кая тишина. Посетители погружены в размышления и даже чуть подавлены этой мрачной живописью, благодаря плохому освещению она кажется еще темнее. Из коричневатого мрака, прорезанного сверкающими вспышками, возникают какие-то лихорадочно-напряженные, экстатичные или жестокие сцены: изображения самых «невероятных мук, где среди прочих муки святого, наматывающего на вращающийся барабан собственные внутренности»; рождается «набожный гримасничающий кошмар»; «сновидение, пронизанное чудовищной мистикой», которое отдает «монастырем и инквизицией»¹⁹. Каталог «испанского музея» щедро преувеличивает богатства музея. Подлинность этих девятнадцати полотен Веласкеса, восьми – Гойи, девяти – Греко, двадцати пяти – Риберы, двадцати двух – Алонсо Кано, десяти – Вальдес-Леаля, тридцати восьми – Мурильо и восьмидесяти одного – Сурбарана вызывает сомнение. И однако все же как много прекрасных произведений! Некоторые детали Эдуар зарисовывает в свой альбом. Подолгу ли стоял он перед такими полотнами, как «Махи на балконе» и «Женщины Мадрида в костюмах мах» Гойи, или у сурбарановского «Монаха»? Так или иначе он запомнил их навсегда.

Вероятно, дядюшка Фурнье водил его полюбоваться и превосходной коллекцией маршала Сульта; последний, будучи «знаменитым грабителем испанских церквей»²⁰, собрал

¹⁹ Jules Breton. *Nos Peintres du Siècle*. Paris, 1889.

²⁰ Léon Rosenthal. *Du Romantisme au Réalisme*. Paris, 1914.

для своей галереи сотни две картин, и среди них несколько замечательных Мурильо и подлинные шедевры Сурбарана.

Стараниями дядюшки Фурнье приобщение к искусству во время каникул не прекращается – оно происходит то в Женвилье, то в имении Понсель близ Монморанси, принадлежащем артиллерийскому офицеру.

Человек страсти сосредоточен только на своей страсти. Целиком поглощенный страстью собственной, дядюшка Фурнье, нимало не думая о плохих оценках Эдуара, а тем более о том, что не следовало бы отвлекать его от греческого и латыни, норовит, как только он оказывается рядом, вручить племяннику карандаш. Он даже подарил ему «Этюды по Шарле» – пусть мальчик совершенствуется в искусстве рисунка.

Дальше – больше. Занятия в коллеже Роллен возобновились. Смысла от того, что Эдуар остался в пятом классе на второй год, никакого: по сравнению с прошлым годом он так и не достиг лучших результатов, кроме разве истории, где один-единственный раз, в мае, был удостоен второго места. «Этот ребенок мог бы успевать куда лучше; правда, намерения у него хорошие, но он несколько легкомыслен и не так прилежен в выполнении школьных заданий, как хотелось бы». Но дядюшку Фурнье это ничуть не интересует – он одно вбил себе в голову и как-то за воскресным обедом настоятельно советует г-ну Мане записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка, которые проводятся в коллеже Роллен.



Франсиско Гойя. Махи на балконе.



Франсиско Сурбаран. Портрет Брата Сумел Франсиско.

Как? Уроки рисунка? Г-н Мане живо вострепнулся. У него три сына. Для каждого из них давным-давно уготовано жизненное поприще. Эдуар и Эжен будут судьями, Гюстав – врачом. Рисунок! Чем может помочь рисунок в жизни Эдуару Мане? Пусть лучше ему об этих глупостях и не заикаются. А Эдуару следовало бы уделять больше времени урокам и школьным заданиям. Дядюшка – а он недавно получил чин подполковника – больше к этому разговору не стал возвращаться. Просто через несколько дней, оставив без внимания доводы зятя, он отправился в коллеж Роллен и попросил г-на Дефоконпре записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка. Платить за них будет он сам, подполковник.

Уроки эти – Антонен Пруст их тоже посещает – не слишком вдохновляют Эдуара. Это академизм чистой воды. Копии с какого-нибудь рельефа, а еще чаще – с гравированных репродукций. Эдуара одолевает зевота. При первой же возможности он старается «ускользнуть в гимнастический зал»²¹. Этот четырнадцатилетний мальчуган имеет собственное мнение о живописи и рисунке. Он только что втихомолку прочел, пока г-н Валлон вел урок, «Салоны» Дидро. «Если одежда народа изобилует мелочными подробностями, искусство может пренебречь ею». Эдуар прочел Прусту эти слова.

²¹ Antonin Proust, указ. соч.

«Вот, право, глупости, – сказал он ему, – в искусстве следует всегда принадлежать своему времени, делать то, что видишь, не беспокоясь о моде».

Сам он делает в рисовальном классе только то, что видит. Бог с ними, с гипсами, которые велено сейчас тщательнейшим образом воспроизвести на бумаге, – лучше он сделает несколько портретов своих товарищей. Вскоре многие начинают подражать его примеру. Пруст, конечно, в первую очередь. Учитель рисования в ярости, он бьет тревогу, жалуется заведующему учебной частью, а тот составляет рапорт г-ну Дефоконпре.

Вначале г-н Дефоконпре приказывает отстранить непокорных учеников от занятий на целый месяц. Затем он меняет решение, зовет виновных в свой кабинет, «отечески» их поучает и, взяв с них обещание «отныне точно копировать модели», отменяет наказание. Виновные изо всех сил стараются продемонстрировать свое раскаяние и «возможно точнее перерисовывают три фигуры, награвированные с картины барона Жерара, где изображен въезд короля Генриха IV в добрый старый Париж в 1594 году»²².

А дела идут все хуже. Г-н Дефоконпре вынужден признать очевидный факт: Эдуар послушен, но тем не менее легкомыслен, он или вообще не работает, или работает плохо. Вместо того чтобы прилежно заниматься, все время рисует в тетрадах. Поборов природную кротость и страдая от мыс-

²² Antonin Proust, указ. соч.

ли, что он причинит семейству Мане такое огорчение, г-н Дефоконпре решает уведомить обо всем этом родителей. Г-н Мане вне себя. Если Эдуар немедленно не наверстает упущенное, ему несдобровать! А для начала, невзирая на угрожающие отметки, он в октябре пойдет прямо в третий класс, минуя таким образом четвертый.

Между тем Антонен Пруст переходит из коллежа Роллен в пансион на улице Фоссе-С.-Виктор. Но время от времени друзья все-таки будут встречаться. Если служба не позволяет дядюшке Фурнье вести их в музеи, свидания подростков происходят на приемах, где они бывают вместе с мадам Мане. Мадам Мане любит общество. У нее красивый голос, она недурно поет и потому не упускает случая посещать другие салоны и светские рауты, особенно вызывающие большой интерес музыкальные утренники в доме графини де Спарт, который находится на площади С.-Жорж. Но Эдуар, обреченный на недельное затворничество в коллеже, тяготится этими приемами – очень уж они церемонны, а он юн и нетерпелив. Он предпочитает украдкой – в свои пятнадцать лет он робок, как девочка, – поглядывать на молодых женщин, прогуливающихся в Тюильри или на Елисейских Полях (в то время «верхняя часть Елисейских Полей представляла собой отлогий склон, заросший необычайно красивыми деревьями; роща переходила затем в сады»)²³; торговцы и торговки предлагают там цветы, сладости и пирожные.

²³ Там же.

Эдуар переживает муки переходного возраста. Мальчику просто необходимо сейчас выплескивать физические силы. И конечно же его поведение оставляет желать лучшего. К лени, небрежению прибавляется какая-то неутомимость. Г-н Дефоконпре вынужден признать, что недоволен мальчиком; он считает, что у Эдуара «трудный характер». Уроки – «слабо», внеклассные задания – «слабо»; только по рисунку у Эдуара «очень хорошо». Г-н Мане бранит старшего сына. Исправится он или нет? Возьмется ли наконец всерьез за занятия? Давно пора подумать о будущем. Неужто он воображает, что из такого лентяя может получиться судья?

Эдуар что-то бормочет... Как? Г-н Мане не ослышался? Ну ладно, если уж на то пошло, то Эдуар прямо заявляет отцу: у него нет ни малейшего призвания изучать право. Он хотел бы... И произносит нечто из ряда вон выходящее: он хотел бы стать художником. Г-н Мане столбенеет. Он резко бросает сыну, что впредь не желает слышать ничего подобного. Но Эдуар упорствует. Отец и сын пререкаются: первый угрожает, второй плачет.

Г-н Мане не может поверить ушам – Эдуар не желает отречься от своих прямо-таки бессмысленных намерений. Ребячество! Мальчишеский бред! Вот результаты пагубного влияния дядюшки Фурнье! Это он внушил племяннику подобное сумасбродство. Г-н Мане так зол на шурина, что того и гляди вспылит. Стараясь хоть как-то образумить непокорного сына, он взывает к друзьям, к родственникам, к г-

ну Пелла, наконец, декану факультета права, к метру Жюлю де Жуи. Эдуар любит отца, но и боится его; он плачет и все-таки не уступает. И не думает уступать. Всхлипывая, он говорит, что скорее убежит из дому, чем будет изучать право.

Невероятно – бунт. И кто бунтует? Мальчуган, прежде такой робкий, такой послушный, такой почтительный. Отец не может прийти в себя. Ну хорошо. Так вскрыем же этот гнойник, и чем скорее, тем лучше. Сам судья уступать не намерен. Ему доводилось переубеждать и не такие упрямые головы. Нет, он уступать не намерен – в самом крайнем случае, так уж и быть, он может пойти на незначительную уступку. Коль скоро Эдуар упрямится, то пусть он сейчас же, немедленно изберет себе карьеру по вкусу – за исключением, разумеется, карьеры «рапэна»²⁴.

Вместе с родителями Эдуар выезжает порою на дачу, в Булонь, на берег Ла-Манша. Море его влечет. В гимнастике он преуспевает. Поступить бы в Мореходную школу – глядишь, и не пришлось бы посещать ненавистный коллеж. Свойственная подростковому возрасту неуравновешенность усугубляет упорство Эдуара. И, не раздумывая долго, мальчик заявляет отцу, что станет моряком. Сам г-н Мане домосед, он привык к Парижу – решение сына не столько удивляет, сколько разочаровывает его. Уж если не магистратура, так хоть какая-нибудь служба по гражданскому ведомству;

²⁴ Рапэн (rapin) – ученик живописца. В представлении французского обывателя середины прошлого века «рапэн» – мазила, пачкун.

но вслух возражений своих он не произносит. Пусть будет флот! Все лучше, чем богема, общество каких-то мазилок.

Возрастной предел для поступающих в Мореходную школу – шестнадцать лет. У Эдуара мало времени впереди – ему скоро исполнится шестнадцать. Поэтому уже в конце школьного года, то есть в июне 1847 года, он будет участвовать в этом конкурсе.

У ученика третьего класса – и ученика посредственно-го – мало шансов на успех. Тем более что занимается он по-прежнему вяло. По-прежнему манкирует изучением классических языков, а между тем они есть в программе конкурса; только математику учит как будто охотно. Результаты конкурсных экзаменов более чем неудовлетворительны. За сочинение по французскому языку он получил одиннадцать баллов; за сочинение по латыни – семь; от устных экзаменов, поняв, что сдавать их бесполезно, вообще отказался. «Он просто потерял время», – сказал один из экзаменаторов.

Провал постарались замять²⁵. В июле следующего года Эдуар получает возможность еще раз испытать свои силы. В октябре 1847 года г-н Дефоконпре разрешает ему, пропустив следующий, очередной класс, перейти прямо в старший – пусть хоть это как-то поможет ему подтянуться.

А тем временем во Франции происходят важные события.

²⁵ До сего времени специалисты, изучающие жизнь Мане, о нем не знали. Приводимые мною сведения взяты из архивных материалов Исторической службы Морского министерства («Поименный список кандидатов, экзаменовавшихся для поступления в Мореходную школу. Год 1847»).

После неурожаев 1845–1846 годов наступает голод; недовольство июльской монархией еще усиливается; ее справедливо упрекают в противодействии всяческому реформам. Политические ораторы безостановочно обрушиваются на Гизо, министра Луи-Филиппа. В феврале 1848 года в Париже начинаются беспорядки. 24 февраля происходит революция; Луи-Филипп отрекается от престола. На следующий день провозглашают республику.

Преданный Орлеанской фамилии дядюшка Фурнье немедленно подает в отставку. Воспользовавшись этим предлогом, г-н Мане, осуждающий поведение шурина, ссорится с ним. Это разрыв – разрыв окончательный, «бесповоротный», как скажет сам Фурнье²⁶, мотивированный не только политическими симпатиями. Дядюшка Фурнье съезжает с улицы Пти-Огюстэн и удаляется в Понсель. Пройдут долгие годы, прежде чем Эдуар вновь встретится со своим крестным.

²⁶ Письмо Эдуару Мане от 1 октября 1855 года.



Франц Ксавье Винтерхальтер. Портрет Луи-Филиппа.

Отметки подростка вряд ли могли смягчить отношение г-на Мане к офицеру, возомнившему себя рисовальщиком. Риторика – «посредственно»; математика – «удовлетворительно»; история – «весьма поверхностно»... Что касается оценки «очень хорошо», полученной за рисунок, то для отца это хуже всякого порицания. Ученик Мане упорствует в своих так хорошо известных ошибках. «Прилежание и поведение: нам не удалось констатировать здесь никаких сдвигов». Имеет ли смысл при таком положении подавать на конкурс в Мореходную школу? В марте Мане узнал, что для тех юношей, которые будут в течение восемнадцати месяцев плавать на борту судна, принадлежащего государству, предельный возраст для поступления – восемнадцать лет. Эдуару это на руку: воспользовавшись изменением порядков, он не посылает документы на кандидатский конкурс²⁷.

Пока он с присущей ему беспечностью заканчивает старший класс, непрерывные общественные волнения во Франции вызывают новый взрыв. В июне в восточной части и в центре Парижа снова строятся баррикады. Чтобы собственными глазами увидеть события этих кровопролитных дней,

²⁷ Очень часто пишут, что Мане участвовал в конкурсе 1848 года. Однако это не так, что подтверждает «Поименный список» того года из архивов Исторической службы Морского министерства.

Эдуар, не боясь «подвергнуться обстрелу», в сопровождении Пруста отправляется в предместье Сент-Антуан. Друзья видят, как несут на носилках смертельно раненного парижского архиепископа его преосвященство Аффра, пытавшегося предотвратить столкновение между правительственными войсками и восставшими.

Решения министерства по поводу очередного конкурса в Мореходную школу меняются. Девятого августа выносят следующее постановление: чтобы воспользоваться льготой – продлением срока поступления до восемнадцати лет, – кандидатам достаточно плавать двенадцать месяцев. Десятого октября – новое послабление: плавание может быть совершено на торговом судне: к тому же его можно заменить путешествием за экватор²⁸.

При сложившихся между г-ном Мане и его сыном напряженных отношениях плавание – единственный выход. Эдуар уедет. Неужели в тот момент он искренне верит, что станет моряком? Неужели не вспоминает о желании сделаться художником, из-за которого и воспротивился отцовской воле? Он продолжает рисовать. Но сейчас его привлекает главным образом перспектива большого путешествия. Оно так соблазнительно, потому что сулит свободу. Уехать – значит освободиться от отцовского давления.

²⁸ «Официальный бюллетень Морского министерства», год 1848-й и «История Мореходной школы и заведений, ей предшествующих», написанная одним из бывших офицеров (Maison Quantin, Paris, 1889).

Некий судовладелец из Гавра, узнав о последнем министерском постановлении, делает ловкий ход: он предлагает маменькиным сынкам, желающим поступить в Мореходную школу, пройти требуемую минимальную стажировку в наиболее благоприятных условиях. Принадлежащее ему судно «Гавр и Гваделупа» повезет их вместе с преподавателями за экватор, в Рио-де-Жанейро²⁹.

Эдуар записывается в число участников первого рейса. В самом начале декабря он уезжает из Парижа в Гавр; отец его сопровождает.

²⁹ Начинание это было справедливо подвергнуто строгому обсуждению. «Во время этого увеселительного плавания, – пишет бывший офицер, автор упомянутой выше „Истории Мореходной школы“, – больше покуривали трубку, чем думали о программе конкурса; по возвращении очень немногие попали в число учеников школы; но так как им еще не исполнилось восемнадцати лет и у них еще оставалось про запас время, то большинство в конце концов поступило».

II. Бухта Рио

То была смутная пора, когда уходит ночь и сводит свои счета дьявол.

Андре Жид. Фальшивомонетчики

Стоя на якоре в последнем портовом доке прямо перед выходом в открытое море, «Гавр и Гваделупа» – капитан Бессон – ждал попутного ветра, чтобы уйти в рейс.

На набережной все время толпились зеваки, разглядывая учеников, уже получивших морскую форму: шерстяная рубашка, холщовая куртка и штаны, клеенчатая шляпа. Матрос, вооруженный ружьем и саблей, охранял вход на наружный трап. Среди ротозеев несколько заплаканных женщин – матери.

Эдуар не жалеет о том, что, побоявшись момента прощания, упрямил свою не приезжать в Гавр.

В субботу 2 декабря он написал ей, чтобы несколько успокоить. Это было нетрудно, так как он просто восхищен, «удивлен комфортом», которым они – он и его товарищи – будут пользоваться. Нормандский судовладелец не обманул: он сдержал все свои обещания и даже сверх того. Парусник – «превосходное» судно, «одно из самых лучших в Гавре» – имеет не только самое необходимое, но отличается еще и «некоторой роскошью». Здесь есть даже салон с фортепьяно. Что касается еды, то она обильна и вкусна: каждый раз по

два мясных блюда и десерт. А спит Эдуар в гамаке! Дело в том, что коек всего тридцать шесть, то есть меньше, чем воспитанников. В первые ночи Эдуару заснуть не удалось, но он быстро привыкнет. И вообще гамак создает некую живописность; в нем, пожалуй, вся прелесть морского путешествия.

Кроме воспитанников и преподавателей, «Гавр и Гваделупа» повезет в Рио одного или двух пассажиров – молодых людей – и небольшой груз различных товаров, где среди прочих – голландский сыр. Экипаж составляют двадцать шесть человек. Помимо этого, в подчинении у негра-стюарда имеется еще четыре юнги и пара новобранцев, взятых в услужение к воспитанникам. Эдуар возмущен грубым обращением с ними: «пинки в зад, кулачные удары, но это делает их дьявольски покорными, уверяю тебя. Наш стюард... их поколачивает». Воспитанникам тоже дано это право, но они будут от него всячески воздерживаться.

И все-таки «Гавр и Гваделупа» не семейный очаг. Офицеры хоть и «очень славные ребята», но бывают «строгими». Воспитанников предупредили, что если они провинятся, то подвергнутся дисциплинарному взысканию, применяемому к матросам, – иными словами, их незамедлительно закуют в кандалы. «Тут смотри в оба, можешь мне поверить».

Но даже это не омрачает настроения. Эдуар и его товарищи рады, что могут наконец окунуться в новую жизнь, так резко меняющую все их привычки, и потому ждут с нетерпением, к которому примешивается некоторое беспокойство,

момента, когда будет отдан приказ об отплытии. Наконец погода становится благоприятной, и 8-го числа заканчиваются последние приготовления. Ставят паруса, поднимают на борт ялик, предназначенный для прогулок в бухте Рио. Остается только погрузить свиней и овец. Отплытие назначено на следующую субботу, на половину десятого утра.

Субботним утром г-н Мане подымается на борт «Гавра и Гваделупы» проститься с Эдуаром. «Я был счастлив, что он оставался со мной до самого отплытия; он был очень добр ко мне все это время», – пишет благодарный Эдуар своей «дорогой маменьке». Уж не покори ли его отец своей добротой?

«Гавр и Гваделупа» отходит от набережной. Столпившиеся на молу зеваки приветствуют судно; дав два пушечных залпа и подняв флаг, оно держит под парусами курс в открытое море. Матери машут платками. Г-н Мане, разумеется, тоже здесь: вон тот цилиндр, различимый в толпе, возможно, принадлежит как раз ему. Как удачно, что судно вышло в море сегодня: г-н Мане успеет добраться до Парижа и попасть завтра, в воскресенье, 10-го на важные выборы. Человек, которого он так недолюбливает, честолюбие которого так его настораживает, домогается поста президента республики; человек этот – принц Луи-Наполеон Бонапарт.

Море прекрасно, небеса сияют. Чуть трепещет парус, но Эдуар не боится качки и необычайно горд, что переносит ее куда лучше товарищей – последние из-за морской болезни

«крепко приклеились к гамакам». Один из его соучеников по коллежу Роллен, Мендревиль, очень страдает. Испытывая легкое презрение, Эдуар снисходительно посмеивается. Эти парни не моряки!

К восьми часам вечера, исполненный чувства глубочайшего удовлетворения от первого дня на борту, он замечает на горизонте свет далекого маяка. Последний знак, посылаемый землею Франции.



Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III).

Опустилась ночная тьма. Но вот Эдуар ощущает, что ему того и гляди станет худо. Внезапно море становится беспокойным, начинает волноваться. Ветер крепчает. Свистят канаты. Стонут мачты. Судно скрипит. Вскоре буря уже свирепствует. От самоуверенности Эдуара не остается и следа. Как у всех новичков, у него сейчас екает сердце. Укрывшись в каюте, страдая от вида и запаха блевотины двадцати парней, которых бортовая качка шатает, опрокидывает, швыряет друг на друга, он спрашивает себя, чувствуя при этом, как его внутренности буквально переворачиваются, «кой черт послал его на эту галеру». Да, он любит море, но разве мог он предполагать, что оно будет столь «неистовым», начнет вздыматься бушующими «горами воды» – волны с таким шумом обрушиваются на палубу, что невольно начинаешь думать о каком-то чудовищном катаклизме.

Увы! Это только начало испытаний. Пасмурное утро; безбрежные, кипящие пеной волны; корабль носит по ним как щепку, волны обрушивают на него гигантские стремительные водопады, хлещут, бьют по дну. Море не успокаивается ни вечером, ни ночью. Ни завтра, ни послезавтра. Буря продолжается несколько дней; она так яростна, что экипаж вынужден порою убирать все паруса. Увлекаемый ураганом, «Гавр и Гваделупа» более неуправляем. По выходе из Ла-Манша встречные ветры сбивают его с курса и гонят к берегам Ирландии.

Буря стихла только к пятнадцатому; с наступлением ночи

ветер наконец переменился. Теперь судно может лечь на другой борт и, преодолевая пока еще сильные волны, взять нужный курс. Эдуар пришел в себя. Он с тоской вспоминает «тишину отчего дома» и, потрясенный недавно выпавшим на его долю испытанием, признается, что морским делом «сыт по горло». Теперь, когда погода установилась, его удручает монотонность вот такого существования. «Всегда небо и вода, всегда одно и то же, это отупляет».

Но едва корабль почистили, постирали белье и постели, ветер опять меняется, волны снова начинают сотрясать судно. Такая погода длится до 19-го числа, пока «Гавр и Гваделупа» не минует Бискайский залив. «Приходится только удивляться на этих парней, – восклицает Эдуар по поводу моряков. – Вопреки трудностям ремесла они всегда довольны, всегда веселы – хотя что за радость висеть на рее, когда она порой касается воды, или работать дни и ночи напролет, иными словами, в любое время дня и ночи; впрочем, все они ненавидят свое ремесло». Суждение, бесспорно, грешит излишней субъективностью.

С момента отплытия воспитанники так ни разу и не открыли тетрадей. Преподавателям еще сильнее нездоровилось. Девятнадцатого приступают к занятиям. Налаживается распорядок дня. Встают в половине седьмого утра, укладываются спать в девять часов вечера; утром занимаются математикой, после полудня – литературой и английским. Эдуар радуется урокам: монотонность корабельной жизни его угне-

тает. Море и небо! Небо и море! Все дни одинаковы, с той только разницей, что сегодня море беспокойнее, а завтра тише. Смотреть не на что. Развлекься нечем. Вот разве незначительные происшествия, приобретающие на фоне этого однообразия значимость событий: то командир подстрелил какую-нибудь птицу – чайку или нырка, которые летают вдали от берегов; то попытались поймать тунца, но безуспешно; то встретился португальский бриг – заметив «Гавр и Гваделупу», шедшего на всех парусах, он решил, что его будут преследовать, и рванулся что было сил... «Гавр и Гваделупа» поднял флаг, на бриге успокоились, к нему подплыла шлюпка с лейтенантом и тремя матросами, передавшими португальцам несколько писем, адресованных во Францию, и кое-какие гостинцы. Португальцы были им чрезвычайно рады: «У несчастных почти иссякли съестные припасы. Выйдя из Нью-Йорка, они пробыли в море целых двадцать два дня, восемь дней провели в дрейфе; теперь они возвращаются в Порто – он находится от нас на расстоянии ста двадцати лье».

Какая тоска – длинные, бесконечно длинные дни, а теперь еще и дожди начались. Командир старается развлечь учеников. Вечером он откупорил несколько бутылок шампанского. После обеда заставляет их петь хором: все собираются в каюте и оттачивают свое вокальное мастерство по методике Уилхэма, очень тогда модной. Ну а по случаю Нового года конечно же организуется «шумное застолье», оно длится до

четырёх часов утра.

Извлеченные из командирских запасов сигары, шампанское и знаменитое савойское печенье на какое-то время заставляют забыть о скудном пайке, которым вот уже несколько дней вынуждены довольствоваться ученики. Затянувшееся плавание почти поглотило съестные припасы: вместо хлеба выдают морские сухари. Ученики «в ярости». Все в их очаровательном путешествии неудачно. Вот, например, Мендревиль – он, как, впрочем, и многие другие, так и не смог привыкнуть к бортовой качке и вынужден все время проводить в постели. А теми, кто здоров, офицеры просто помыкают. «Помощник капитана... форменный грубиян, эдакий морской волк, который обходится с нами весьма круто, а уж ругается – хуже некуда». Все неудачно. Хоть бы «Гавр и Гваделупа» доплыл до Мадейры! «Какое счастье видеть землю! Как давно мы об этом мечтаем!» Рано поутру 30 декабря на горизонте показался гористый остров Порто-Санто – до Мадейры от него двадцать пять миль. Но напрасно лавирует «Гавр и Гваделупа», ветер все равно не благоприятствует ему, и, оставив надежду пристать к островам, он вечером 31-го числа снова берет курс к Африке.

Длинные, бесконечно длинные дни. Эдуар рисует. Он вынул карандаш – что может быть естественнее. Рисует, фиксируя свои впечатления, передает движение, силуэты, изображает лица матросов и товарищей. наброски идут по рукам. Ого! Прямо талант – похоже, а к тому же еще и шаржирова-

но. Офицеры, преподаватели – все хотят заполучить для себя «карикатуру». Сам командир под предлогом новогоднего подарка обратился с подобной просьбой. В благодарность он приглашает Эдуара за свой стол. Днем Эдуар часто забирался на капитанский мостик и, всматриваясь в горизонт, который то подымается, то опускается, думает о чем-то – о чем? О каких тайнах моря? Как изобразить небо? Ночью его можно найти на корме, где он любит играть бликов света и тени на бурлящей за бортом воде. «Гавр и Гваделупа» входит в теплые, хотя по-прежнему беспокойные воды. Временами море словно фосфоресцирует. «Нынче вечером казалось, что корабль рассекает огненные волны: это было очень красиво».

Солонина, безвкусная вода. Эх! Если бы можно было бросить якорь у Канарских островов – вот где запаслись бы свежим продовольствием, апельсинами! 6 января уже виден Санта-Крус-де-Тенерифе. Но подойти к нему снова не удалось, – и какая жалость! – то, что казалось почти раем, – снежная вершина Тенерифе, залитые солнцем ослепительно белые дома Санта-Крус остаются позади.

«Гавр и Гваделупа» запаздывает на восемнадцать дней. Ну наконец-то – пассатные ветры стали подгонять судно, и вот оно уже легко скользит по спокойному морю – где-то мелькнет кит, где-то стайка летучих рыб, а то дельфин или даже акула. С наступлением хорошей погоды занятия и тренировки возобновляются. Утром, на заре, Эдуар – марсовый

на фок-мачте, другие воспитанники натягивают и отдают паруса. Идет урок фехтования. Но вот жара становится удушливой. Все изнывают от жажды. Внезапно ветер стих. Мертвый штиль – «один из тех мертвых штилей, какой увидишь только под тропиками». Парус недвижим, недвижим посреди безбрежной голубизны небес и океана. Спустив лодку, ученики по очереди гребут – разнообразия ради катаются вокруг судна. Решительно, плавание под парусами – унылое занятие!

Только буря может развеять «тоскливое состояние», сковавшее «Гавр и Гваделупу». Она и разразилась 16 января. 20-го корабль подходит к экватору – там виднеется еще восемь судов, так как «обычно экватор переходят под одним и тем же градусом».

Ученики томятся в предвкушении традиционного праздника, отмечающего переход через экватор. Праздник этот будет продолжаться сорок восемь часов. После «крещения» – «наконец-то мы стали моряками» – остается всего двенадцать дней до прибытия в Рио-де-Жанейро». «Гавр и Гваделупа» спешно прихорашивается – его в очередной раз красят. Обследовав трюмы, капитан Бессон обнаружил, что сыры, составляющие важную часть груза, за время плавания сильно пострадали – во время шквалов корка их обесцветилась. «Раз вы художник, – сказал он Эдуару, – освежите-ка эти сыры». Эдуар тотчас повиновался. Он еще никогда не держал в руках кисти. Вооружившись кисточкой для бритья,

он от души веселился – «черепа» получают свой первоначальный оттенок. Он вполне удовлетворен тем, что называет своим первым «живописным опусом».

После двух месяцев в море «Гавр и Гваделупа» стал на рейд в Рио-де-Жанейро в понедельник 5 февраля.

Для выполнения формальностей командир и офицеры свободно сходят на сушу, но ученикам это пока запрещено. Изнывая от скуки, Эдуар разглядывает бухту, военные корабли разных национальностей, тоже ставшие тут на якорь, горы, покрытые сплошной зеленью. Идет дождь. Единственная радость: вода, мясо, фрукты – все теперь свежее. Каждый день шлюпка привозит на борт бананы, апельсины и ананасы.

Ученики должны были сойти на берег в четверг, но приказ отменен. Бухту Рио, обычно вызывающую у путешественников потоки лирических излияний, Эдуар находит всего лишь «очаровательной». «У нас достало времени на нее налюбоваться!» – восклицает он. Наконец в воскресенье ученики получают разрешение посетить город.

Еще в Париже некто Ребуль снабдил Эдуара рекомендательным письмом к проживающему в Рио семейству Лакаррьер. Старший сын Лакаррьеров Жюль находит Эдуара и ведет к своей матери на улицу Увидор. Там начинающий моряк с аппетитом завтракает и обедает, он очень тронут оказанным ему теплым приемом³⁰. После полудня новый друг

³⁰ Но все равно удивлен тем, что «очутился в лавке»: ведь мадам Лакаррьер – эта та самая «модистка», слова Эдуара о которой цитировались в первой главе.

показывает Эдуару Рио.

В те годы город еще не начинали перестраивать – это случится позже и основательно изменит его облик. Какой разительный контраст между созданием рук человеческих, оставляющим впечатление «печальное, жалкое и грязное»³¹, и великолепием природы, красотой бухты. Канализация в Рио отсутствует. Улицы узкие, плохо замощенные, дурно пахнущие. Так как бразильцы днем почти не выходят из дому, то на улицах видишь преимущественно черных рабов. Между прочим, они составляют здесь львиную долю населения – торговцы неграми привозят их сюда из Африки от двадцати до сорока тысяч в год³². Они босы, так как обувь им носить запрещено; их одежда сводится к холщовым штанам да еще иногда куртке, надетой прямо на голое тело. Они спорят, кричат, шныряют среди товаров, бочек, загромождающих улицы; сгибаются под тяжестью непомерной ноши или тянут скрипучие телеги, называемые здесь «кабруэ», толстые колеса которых «похожи на круглый, продырявленный в середине стол»³³.

Этот «довольно уродливый» город и чаровал, и отталкивал Эдуара. Рабство его просто возмущает. Бразильская милиция кажется «прекомичной». Дворец императора он называет «настоящей лачугой». Церкви оскорбляют его взор

³¹ Max Radiguet, *Souvenirs de l'Amérique espagnole*. Paris, 1856.

³² Рабство было окончательно уничтожено в Бразилии только в 1890 году.

³³ По словам Макса Радиге.

обилием вызолоченных украшений. Но для «европейца и немножко художника» город этот отмечен «печатью неповторимого своеобразия». И разумеется, он необыкновенно живописен – он будоражит любопытство разнообразием местного населения; обликом улиц, где можно увидеть не только омнибусы, запряженные мулом, но и паланкины; нравами аборигенов, особенно бразильянок, «причесанных в китайском вкусе», чьи глаза и волосы «изумительно черные», – почти все они очень красивы и почти все выходят замуж в четырнадцать лет, а бывает, и раньше, и не рискуют показываться на улицах поодиночке – как правило, днем они прячутся за ставнями в домах, и если замечают, что на них смотрят, то сразу же отходят от окна, но вечером, после пяти, ведут себя более непринужденно, позволяют любоваться собой.

В городе этом есть и еще нечто необычное «для европейца и немножко художника» – уразумел ли это Эдуар? – свет, раскаленный свет, делающий формы особенно четкими – без той приглушенности тонов, смягченности и неуловимости переходов, которые растворяют линии под небом Парижа. Глаза Эдуара впитывают чистые сочетания красок, отчетливые тени, резко обозначенные, лишённые полутонов, валеры.

Этот свет – ах! – как играет он на черных телах. Они-то и придают городу его «колорит», его необычную прелесть. Эдуар находит негритянок «в общем безобразными», но ему

не удастся отрешиться от них мыслями или взглядом. Впрочем, признается он, изредка попадаются и «довольно хорошенькие». К тому же они умеют «искусно укладывать свои курчавые волосы», а некоторые прячут их под тюрбаном. Красивые? Безобразные? Они волнуют подростка, отталкивают и гипнотизируют, вызывая из потаенных глубин какие-то смутные, необъяснимые чувства. Их юбки, обшитые «чудовищной величины воланами», колышутся при движении, на их шейках подросток замечает небрежно повязанную косынку, то скрывающую, то обнажающую грудь. Свет играет на коже цвета эбенового дерева, на дряблой груди старых негритянок, на упругой, влекущей взор груди молодых чернокожих Венер.

Голландский сыр продали тотчас же по выгрузке. Жители Рио, а особенно рабы, так рьяно на него набросились, что съели даже корки.

Спустя несколько дней по городу разнесся слух о нескольких случаях заболеваний холериной. Желая пресечь панику, власти публично заявили, что это вовсе не болезнь, а отравление недозрелыми фруктами. Но Эдуар-то догадывается, в чем истинная причина заболевания, капитан Бессон тоже – краска, с помощью которой сырам вернули их аппетитную привлекательность, содержала свинец. Но – молчание! «Скромность в торговых делах – гарантия успеха.

Я помалкивал, и правильно делал, – признается Мане позднее, – ибо с тех самых пор капитан проявлял от отно-

шению ко мне исключительное внимание. Уж кто-кто, а он не стал бы задавать вопроса, талантлив ли я. Он в этом не сомневался».

Не сомневался настолько, что, отчаявшись заполучить в Рио учителя рисования для вверенных ему учеников, он поручил эту роль Эдуару.

Хотя новая должность Эдуару, несомненно, льстит, он до предела раздражен вынужденным заточением. За два месяца стоянки в Рио ученикам было разрешено сходить с корабля только по четвергам и воскресеньям. Видеть перед своим носом землю, жалуется Эдуар, – и не иметь права ступить на нее! А когда на несколько дней зарядят дожди, «что может быть тоскливее дождя, если ты на борту?»

После первого выхода на берег – экскурсии за город, состоявшейся в четверг, в воскресенье ученики посещают Рио. Воскресенье это падает на 18 февраля, то есть на воскресенье масленицы, когда в торжественной обстановке открывается трехдневный карнавал – «intrudes». Веселье тогда затопляет город.

Необычайное зрелище. Юные воспитанники с «Гавра и Гваделупы» едва верят своим глазам. Кто мог предположить, что бразильянки, еще на прошлой неделе красневшие от одного приветливого взгляда, способны на такие рискованные забавы?

Истомившись за год в домашнем затворничестве, а в лучшем случае изнемогая от постоянного и строжайшего над-

зора, они с каким-то неистовством отдаются краткому веселью трехдневного праздника. В это воскресенье они уже с трех часов у окна, на varandas или у двери – белое платье, алый цветок за корсажем – и, высмотрев среди проходящих мимо мужчин тех, кто им нравится – негры, само собой разумеется, не в счет, – кидают в них маленькими разноцветными шариками, слепленными из воска, – их называют здесь «limoes de cher» – «гранаты-завлекалки», которые, попав в цель, лопаются, распространяя вокруг запах дешевой парфюмерии (внутри этих «гранат» ароматизированная жидкость). Это больше чем избрание, это приглашение, и каждый отмеченный таким образом мужчина имеет право поцеловать женщину прямо в губы. Женщины тоже становятся мишенью «limoes de cher» – ведь, находясь на улице, мужчины хотят обратить на себя внимание, стать, в свою очередь, избранными жертвами красавиц.

Эдуар и его товарищи веселятся до шести часов вечера, когда забавам этим приходит конец³⁴. «Я набил „гранатами“ полные карманы и отражал удары как мог», – напишет Эдуар матери, не слишком распространяясь по поводу подробностей самого праздника.

Пружинящая легкая походка, правильные черты лица, светлый тон кожи, успевшей за время восьминедельного

³⁴ Они исчезнут окончательно только в 1854 году, когда их заменят кавалькадами, парадом колесниц. Восходят они к очень древнему времени. Некоторые фольклористы приписывают им мифологическое происхождение.

морского путешествия покрыться легким загаром, живой взгляд, красиво очерченный рот, складывающийся в насмешливую улыбку, – Эдуар более чем привлекателен. Можно не сомневаться, что прекрасные senogas жаждали попасть «гранатой» в этого голубоглазого белокурого парижанина. Можно, бесспорно, не сомневаться и в том, что он тоже, пылая от смущения, не упускал okazji прикоснуться губами к ротуку бразильских шутниц.

Что с того! Вскоре в письме к кузену Жюлю де Жуи появятся горькие в своей неосознанной безнравственности фразы о бразильянках. Они вовсе не заслуживают легкомысленной репутации, приписываемой им порою во Франции, скажет он, нет существа более ханжески-добродетельного и глупого, чем бразильянка.

Распушенность нравов в дни карнавала оказалась всего лишь показной. Это было притворство – прикрываясь им, женщины целых три дня тешились иллюзией свободы, изображая независимость от постоянного надзора, на который обрекали их местные нравы. Но если юные морячки пытались добиться чего-то большего, их незамедлительно ставили на место. Отсюда их досада. Отсюда и досада Эдуара. Они считают себя обманутыми.

Взбудораженные, оглашая окрестные улицы громкими криками, они слоняются по городу. Вечером они ненадолго заглянут на костюмированный бал, «скопированный, – как отмечает Эдуар, – с балов в парижской Опере», куда отва-

живаются явиться переодетые негритянки в масках и длинных перчатках, но покачивающаяся походка сразу выдает их. Морячкам здесь задерживаться недосуг. Где-то там, в отдаленных от центра кварталах, в свете ночи вспыхивают огни иллюминации. Не допущенные на праздник белых, негры танцуют под звуки варварской, навязчиво-синкопированной музыки. Взвиваясь в небо, тысячами звезд лопаются шипящие петарды. И вот уже неистовый бешеный вихрь черных тел и ритмические хлопки окружающих, аккомпанирующих пляске, завладевают Эдуаром и его спутниками.

Видение какого-то иного мира. Где-то за тысячи километров, в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, тикают часы Бернадота. Необычная, фантастическая ночь. Эдуар растворяется в ней, музыка завладевает им, возбуждает, стесняет дыхание. Порой танцующие с напряженными лицами, запыхавшиеся негры и негритянки касаются его тела. Запах кожи мешается с ароматом цветущих гранатов. Тела трепещут, приближаются, исчезают. На блестящей от пота шее негритянки вспыхивают отблески полыхающих вокруг костров...

...И когда на небе начнут затухать первые звезды, скованный небывалой усталостью Эдуар познает первую любовь, олицетворением которой станет темное, как ночь, лицо рабыни из Рио.

Вероятно, капитан Бессон был не слишком доволен опрометчивой авантюрой, предпринятой Эдуаром и его товарищами в воскресенье на масленицу. Он должен был самым

серьезным образом отчитать их, объяснив, чем они рисковали, – ведь многие негритянки в Рио-де-Жанейро больны люэсом (сифилисом). Известно ли им о жутких последствиях этого заболевания? Минутное увлечение может искалечить всю жизнь, превратить ее в нескончаемо мучительные годы страшнейшего наказания: спинная сухотка, двигательная атаксия...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.